

Знала я когда-то одну очень маленькую девочку, которая появилась на свет в старом, давно снесенном здании близ Тверского бульвара в самую Богоявленскую ночь, осеняющую в тот раз благодатию надмирного вечного таинства последние недели уходящей эпохи влады.

И хотя родилась девочка в ночь великого праздника Богоявления, и хотя была омыта первый раз в своей жизни водой не простой, ибо в этот день вся водная стихия приобретает, по воле Божией, особые свойства, — она ни от кого из близких не слышала и ничего не знала ни о Богоявлении, ни о Рождестве Христовом — двух главных, разделенных лишь святочной порой праздниках, без которых не было бы и Пасхи нетления, мира спасения. Никто ведь из окружающих ее взрослых не помнил, даже если когда-то читал или слышал те слова, всегда призывающие: «Пустите детей прийти ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие».

Поэтому-то детству девочки, как и детству большинства таких, как она, от таинств и благодати дивных январских Господских праздников была оставлена лишь елочная мишура. Но когда комната наполнялась запахом свежей хвои, у ребенка появлялась уверенность, что эти дни не только одаривают новогодними радостями и весельем, но исполнены особым, таинственным и ускользающим смыслом. Уверенность эта пришла к девочке из глубины зеркала.

В комнате напротив окна стоял старый облезлый трехстворчатый шкаф, в среднюю створку которого было вделано большое зеркало. Оно было не единственным в доме, но именно оно одно имело какую-то особенную власть над детской душой, которую притягивало к себе магнитом.

Когда же девочка чуть подросла, плывя, как по волнам, по начальным своим дням, то полюбила зимние сумерки, особенно после того, как однажды заметила в пустынной, наливающейся тьмой сини неба одну очень яркую восходящую звезду, отличную от других, едва заметных точек. И всегда, когда небо было ясным, эта звезда таинственно отражалась в зеркале шкафа на протяжении всего декабря и в начале января, когда в доме появлялась елка. И сияла над всем мировым жестоким царством кесаря, плыла она по небу и, готовая быть путеводительницей у всякой, хотящей того души, звала, звала спешить поклониться Христу-младенцу. Звала она и девочку, заменив ей огонек лампадки, ни разу не осветившей ее детства. Но та не подозревала об этом и называла звезду новогодней.

Появлялись и в другое время года то тут, то там яркие, притягивающие взор звезды. Но только одна эта, декабрьская, смотрела, отражаясь в зеркале, прямо в окно девочки и соединялась в ее сознании с венчающей елку звездой.

Был некий день, когда девочке показалось, что через темную щель приоткрывшейся дверцы шкафа за ней внимательно следит взгляд какого-то невидимого существа, неизменно ей доселе шкафного жителя. Должно быть, он давно уже наблюдал за их людской жизнью, ничем не обнаруживая свое присутствие. Но почему-то именно теперь он дал о себе знать. И она замерла от испуганного и простодушного любопытства.

С того дня шкафный житель, не столько видимый, сколько угадываемый, стал играть с девочкой в прятки. Он то смотрел на нее в щель дверцы шкафа, то, приоткрыв ее пошире, вдруг появлялся уже в зеркале. В комнате его никогда не было, но в зеркале отражалась слегка расплывчатая сероватая тень, ростом не выше девочки. Стоило ей приблизиться к зеркалу, чтобы взглянуть в эту тень, как она опять оказывалась в шкафу и смотрела на девочку в щель с очень осязательным вниманием, безлюбным и пристальным, с каким следит за добычей охотник. Этот пристальный нелюбящий взгляд больше всего смущал душу ребенка: так на нее никто еще не смотрел.

Когда в комнате находились взрослые, тень никак себя не обнаруживала и ее взгляд девочка на себе не ощущала. Но наедине с ней тень продолжала смущать ее своим неотступным вниманием.

Приближался опять Новый год, и

опять на небе появилась звезда, чье сияние в окне и отражение в зеркале всегда так радовали душу ребенка. И как-то вечером, когда девочка играла в комнате одна, до ее сознания вдруг донеслись слова: «Шагни, шагни в окно и полетишь, как птица, и долетишь до своей звезды. Ты ведь хочешь полететь к ней?»

Голоса она не слышала, но слова эти беззвучно, но явственно произнес кто-то в ней. Неужели заговорил шкафный житель, казавшийся в зеркале при свете настольной лампы и звезды темноватым пятном?..

А девочке и впрямь хотелось полететь, вот только оконные рамы были по-зимнему тщательно укутаны и заклеены.

* * *

Как раз в те декабрьские дни к ним приехала погостить двоюродная тетя ее матери, Глафира Алексеевна, баба Глаша, которая еще в молодости, в тифозный год, схоронила мужа и единственного сыночка и сейчас доживала век одна где-то в глухомани, в райцентре.

— У вас побуду и в Лавру съезжу поклониться, — непонятно сказала она в день приезда.

Баба Глаша легко ходила на тощеньких старческих ножках и всегда сияла морщинистым личиком. Девочке, которая разминувшись во времени с родными бабками, очень не хватало любовного старческого внимания. Его привнесла в ее начальные дни именно дальняя баба Глаша, с которой было как-то удивительно спокойно и совсем не хотелось спалить. Утром и вечером она подолгу шептала что-то непонятное и не воз-

выслушала все, посмотрела с пристальным вниманием на ребенка и внушительным тоном, совсем ей не свойственным, произнесла: «Никогда не слушай эту тень, что бы она тебе ни говорила. Запомнишь?»

Девочка кивнула, притихнув от строгой серьезности ее голоса.

Вечером за чаем, баба Глаша, видимо, в продолжение разговора, при котором девочка не присутствовала, сказала ее матери: «Хоть и поздно, но дождалась ты дитяти, а главного ей дать не можешь». И, помолчав, укоризненно и веско добавила: «Одна у тебя девочка, и не боишься ты».

— Да как же я с ней пойду, тетя Глаша, вы сами подумайте, как я пойду с ней? Ведь я — партийная. Вот если бы жива была мама, да была в добром здравии...

А баба Глаша была очень разумной старухой, проработавшей сорок лет в своей глухомани учительницей начальной школы, и, конечно же, понимала, что кесарю надо отдавать кесарево, но чтобы Бога исключить из частной жизни... Этого она, в отличие от многих и многих обокраденных и изуродованных душ, не принимала решительно.

— Да я все сделаю, я. С меня-то какой теперь может быть спрос?



Две тени

История одного чуда

ражала, если девочка стояла рядом и наблюдала за ней.

У бабы Глаши она впервые увидела слегка выцветшую, наклеенную на картон картинку, на которой была изображена прекрасная и печальная



тетя в короне с ребеночком на коленях. Тетя очень понравилась девочке. Таких картинок не было ни в одной из ее детских книжек.

— Это королева? — спросила она бабу Глашу. Подумав немного, как попонятнее сказать ребенку, произраставшему без Бога и Церкви, баба Глаша объяснила: «Она — Царица всех цариц и всех королей, всех нас и твоя тоже. Она — Мать Божия, Царица неба и земли». И поцеловала образок.

От нее девочка впервые услышала про Бога, которого убили злые и самодовольные люди, но Он воскрес. «И мы все умрем не навсегда», — впечатались в сознание ребенка слова старухи. А теперь Бог сидит на небе на престоле и каждого, каждого из людей будет судить по его делам. «Так что ты не очень-то шали», — всякий раз назидательно заключала она.

Только ей одной девочка решила доверить свою главную тайну и рассказать про шкафного жителя и его неясную, видимую в зеркале тень, а также про слова, зовущие ее полететь до любимой звезды. Баба Глаша

Но мама не отступала перед ставшей на старости лет, как иронично выражалась она, необузданно богомольной родственницей:

— Нет, тетя Глаша, сейчас, зимой, ни в коем случае. Еще схватит воспаление легких. И потом, если бы купель можно было как-то продезинфицировать...

Баба Глаша только махнула рукой на такую санитарно-гигиеническую бдительность и прекратила разговор.

В феврале она засобиралась домой к большому огорчению девочки. «Приеду летом, жавороночек ты мой, побуду с тобой на даче, — сказала она, прощаясь, — и все, что нам надо, сделаем, окрестим тебя. Разве можно без этого?» И еще вдруг произнесла: «Я вот помошлю Иоанну Крестителю, чтобы он пока присматривал за тобой. Это он заглянул первым в твои младенческие глазки, ведь родилась ты в его день. Если бы родители твои были в разуме, они назвали бы тебя Елисаветой, в честь его праведной матери. Он — твой зацтитник и покровитель и не оставит тебя никогда».

Слова, сказанные старухой, были мало понятны девочке и сразу изгладлись из ее памяти. Свое же обещание приехать летом баба Глаша не сдержала, ибо к лету уже лежала на кладбище в далекой заволжской степи.

А вот шкафный житель исчез. И зеркало как-то сразу перестало притягивать магнитом младенческую душу, хотя она по-прежнему радостно замирала в те, полные тайны, минуты, когда в зеркале отражалась звезда, а иногда и месяц.

И тогда девочка — а ее слуха и сердца уже коснулась музыка русского стиха — говорила ему, повторяя заповнившиеся ей слова: «Здравствуй, Месяц Месяцовой!»

И не было случая, чтобы он не кивнул приветливо ребенку.

Однажды, будучи уже студенткой, искусственной в книжной премудрости, девочка празднично зашла в какую-то церковь, случившуюся на ее пути. Там ее внимание привлек крылатый образ, как ей сначала показалось, Архангела. Но, подойдя ближе и

увидев в его руках голову на блюде, очень похожую на его собственную, она догадалась, что перед ней — Иоанн Креститель со своею усековенной главой, изображенный как Ангел пустыни. И в этот миг она вдруг вспомнила прощальные слова бабы Глаши, ясно и отчетливо зазвучавшие в ней, и поняла, что это он, честный Предтеча Господень Иоанн, крайний пророк и первый во благодати мученик за Христа, «присматривал» — по молитвам старухи — за нею, нехристию, все эти годы ее безблагодатного взросления и не очень-то празднично разыгрываться ее молодой дури, а в какие-то моменты жизни — хранил об идее.

Но прошло еще немало времени, прежде чем приняла она святое крещение. Все что-то мешало, точнее, кто-то, конечно, имя кому — легион, как и той тени, так смущавшей ее у зеркала во времена раннего детства.

Когда же стала она уже не празднично приходить в церковь и поминать об упокоении близких, то в один прекрасный день подумала, что молиться надо и о душах любимых писателей, прежде всего, за души убиенных русских гениев. И понял, что Сергей Есенин не был самоубийцей, она стала поминать и его.

Не так давно, после одной из родительских суббот, ей приснился, точнее, даже и не приснился, а как бы вторгся в пределы ее сна, надвигаясь на нее всей своей громадой, угрюмый Маяковский, точно такой, как на последних фотографиях, с лицом, хотя и совершенно узнаваемым, но искаженным болью и злобой. И все повторял: «А за меня разве не нужно молиться?»

От внезапности его вторжения сон ее пропал, но оказалась она в каком-то неведомом пространстве, уже не сна, но еще и не яви, по-прежнему находясь один на один с громадной тенью поэта, продолжавшей вопрошать: «За Сережу ты молишься, а за меня не нужно разве молиться?»

Девочке иногда снились успешные из жизни близкие и она понимала: они напоминают ей сени смертной о том, что ждут ее молить, хотя и прожили жизнь вне Церкви, хотя и принимали как единственную данность

для человека дух века сего и не испытывали тогда потребности в молитвенном обращении к Богу.

Но тут она ощутила не просто тонкий хлад веяния потусторонности, как это бывает в таких снах, но наполняющее душу смертным ужасом, цепнящее дыхание адской бездны, откуда, несомненно, явилась тень поэта. И вдруг неожиданно для себя она ответила ей монологом, как наяву:

— Не любили ведь вы при жизни «длинноволосых проповедников», да еще как не любили. Себя, «горлана-главаря», почитали нужнее их и ставили выше их, ни на секунду не склоняясь перед их крестным мученическим подвигом. Нелюбовь ваша к ним простиралась столь далеко, что вы даже включились — хотя вряд ли вас к этому принуждали — в травлю Святейшего Патриарха Тихона, написав о нем гнуснейшие пасквильные стишки. Одно это стихотворение постыднее всего того, что насочинял бездарь и холуй Демьян Бедный. Вам-то был дан талант. Да еще черной радостью радовались уничтожению православного кладбища. А чего стоит ваше оплакивание царевницы Войкова... Не в угоду ли семейке Бриквор, с которой вы так непристойно срослись, писалось все это? На своем таланте вы позволили паразитировать легиону тех, кто поощрял вас низводить народное сознание до расхожего, унифицированного, массового, манипулировать которым не составляет уже никакого труда. Поощряя вас к этому, легион в то же время подтравливал вас, как и водится в этой среде.

Были и у Есенина, конечно, богохульные строки и неуместные зигзаги мысли. Но его поэзию питала тайна убогого и могучего, разгульного и праведного, грешного и святого русского бытия и, в отличие от вас, он любил эту корневую Русь, еще не искорененную, по вашей же проговорке, «работой адовой» революционных бесов.

И не всякий, далеко не всякий русский талант дал бы себя оседлать такой профессиональной подсадной ведьмочке, какой была Лиля Брик, запомнившаяся мне, кстати, накрашенной вульгарной старухой, которую видела два раза школьницей.

Ужасаюсь загробной участи вашей души, но что может сделать для нее моя слабенькая и немощная молитва?

Так, удивляясь самой себе, ответила она тени Маяковского и тотчас оказалась в знакомом и привычном пространстве своей комнаты.

Весь день думала она об этой, не укладывающейся в сознании встрече.

Решив, что в любом случае следует помолиться о пребывающей в адских муках душе поэта, стихи которого некогда надо было — хочешь, не хочешь — учить наизусть и творчеству которого уделялось в ее школьные и университетские годы едва ли меньше времени, чем творчеству Пушкина и Достоевского, вместе взятых, — зашла она вечером в церковь и поставила свечу о упокоении раба Божьего Владимира. Но тяжесть от ночного видения только усилилась.

И еще несколько раз поминала она его отвергавшую Бога душу. И всякий раз ей становилось как-то особенно тяжело.

Недавно при встрече со мной девочка рассказала о ночном видении и о том, что молитва о душе поэта гирей повисает на ней.

А мне как-то сразу пришли на ум воспоминания о некоторых духовно опытных священниках, которые, случалось, когда их просили помолиться о чем или о ком-либо, спустя некоторое время говорили, что молитва их не возносится вверх ко Господу, а падает камнем обратно. Из чего следовало, что Богу не угодно было исполнить просимое.

Известно также, что бывали и на Афоне в старое время случаи, когда монахи присылали обратно денежный вклад поплававшему его с сообщением, что деньги возвращают, ибо Господь не принимает их молитв об упокоении такого-то.

Лидия МЕШКОВА